

И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон;
Он это спит, улыбка бродит
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный
И мысли свет и сердца жар...

Н. Огарев. Мертвому другу

И про И. М. Гревса можно сказать: «он умер, окруженный любовью нового поколения». Тем крепче будет память о нем, чем глубже была любовь к *нему*...

Н. П. Анциферов

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. М. ГРЕВСЕ

В мае 1940 г. исполнилось Ивану Михайловичу 80 лет. Университет решил ознаменовать особым торжеством эту годовщину... меня пригласили принять участие в чествовании. Я приехал в Ленинград и остановился на квартире И. М. Гревса.

Иван Михайлович казался очень недоволен этой «затеей» университета. Он волновался... ворчал. Марья Сергеевна едва уговорила его надеть новую пиджачную пару. Он не хотел снять с нее приставшие пушинки, и я их снимал с нетерпеливо стоявшего padre.

В назначенный час мы отправились в университет. У остановки трамвая к нам подошел старичок, которому было под семьдесят, и, пристально всматриваясь в лицо Ив. Мих., почтительно спросил: «Кажется, профессор Гревс?» Оказалось, это один из его давних слушателей. Утвердительный ответ Ив. Мих. чрезвычайно обрадовал старичка, и он горячо пожимал руку своему профессору, который «оставил неизгладимый след» в его душе.

Эта встреча была хорошим предзнаменованием.

К моему огорчению, чествование должно было состояться не в нашем старом историческом семинарии, где всю жизнь читал Ив. Мих., а в новом здании, куда был перенесен исторический факультет. В зале, убранном цветами, висел портрет Ив. Мих., исполненный масляными красками, по заказу факультета. С речами выступали представители многих и многих поколений. Начал академик С. А. Жебелев как старший товарищ И. М. Гревса. Он говорил, что, согласно древней мудрости, «долголетие посылается тем, кто почитает родителей». Ив. Мих. почитал родителей не только по плоти, но и по духу, продолжая дело своих учителей, служа русской науке. Так кончил С. А. Жебелев — после того, как охарактеризовал научные заслуги И. М. Гревса. Вслед за ним говорил, сильно волнуясь, академик И. И. Толстой, представитель старшего поколения учеников юбиляра. Наиболее подробную характеристику Ив. Мих. как ученого дала Е. Ч. Скржинская* (Скшинская). Помнится, она закончила очень хорошо, цитатой из Фюстель де Куланжа. Но (увы!) я забыл ее содержание. Потом говорил Холмогоров, коммунист Степанов, очень преданный Ив. Мих., проявивший большую заботу о своем

* Елена Чеславовна Скржинская, в описываемое время — крупный и заслуженный ученый-античник и медиовист, давняя ученица профессора, в прошлом — муза, предмет вдохновения и поклонения, возлюбленная великого русского философа Льва Платоновича Карсавина, также ученика И. М. Гревса.

учителе... Наконец говорили студенты. Все отмечали глубокие научные знания, высокую культурность, исключительную отзывчивость.

Ив. Мих. несколько раз посматривал на меня и делал знак, что ждет моего выступления. А я?... я не мог произнести ни одного слова.

Эти поколения учеников, эти взволнованные, необычайно искренние речи, приветствия опального профессора, сравнительно недавно возвращенного в университет, — все это так волновало меня, что я не мог справиться с собой.

Иван Михайлович встал для ответного слова. Он казался необыкновенно высоким.

За что вы чествуете меня? Разве это заслуга дожить до 80 лет? Действительно, лишь опираясь на древнюю мудрость, о которой говорил Сергей Александрович, можно долголетие считать заслугой.

Ив. Мих. говорил о том, что его постоянной заботой была подготовка учеников и что сегодня ему было отраднее видеть столько людей столь разных возрастов, называвших его своим учителем. Свое короткое слово взволнованный Ив. Мих. кончил так: «Кого же вы все-таки чествуете сегодня? Кто же я в ваших глазах? Ведь я не материалист, а следовательно, с принятой ныне точки зрения, я буржуазный ученый. Но ведь это же неправда. Я никогда не был сторонником капитализма, он всегда был мне враждебен. Вот я и думаю, что относить всех, не согласных с материализмом, к буржуазным ученым не следует. И я советую вам пересмотреть эту точку зрения: она ошибочная». Эта концовка речи старого профессора озадачила собравшихся, они растерянно улыбались. Но вот председатель собрания, декан, начал аплодировать — зааплодировал, но как-то нерешительно, весь зал. Ну что поделать с неукротимым стариком!

Я проводил Ив. Мих. домой. Он был взволнован и, как мне казалось, доволен и этим днем, и тем, что остался верен себе.

За столом я подробно все рассказал Марии Сергеевне и Екатерине Ивановне. Они просили меня сейчас же все записать. А я сказал — спешить не нужно, разве я могу забыть малейшую деталь! Прошло 10 лет. Я пишу и вижу, как многое забылось!

В мае 1941 года я был в Ленинграде по делам выставки памяти Лермонтова. 10 мая был с Татьяной Борисовной* у Гревсов на их новой квартире на одной из линий Васильевского острова близ взморья**. В дорогой мне их квартире на 9-й линии*** в последнее время сложились невыносимые отношения с соседями, отвратительной семьей, которая всячески выживала семью Ив. Мих. Его дочь проявила большую энергию, чтобы выхлопотать новую квартиру и организовать переезд. Маленькую и тесную квартиру занимала целиком семья Гревс. И мне приятно было видеть их «в тесноте, да не в обиде».

Я видел его в последний раз в начале мая 1941 г. В тот вечер я читал ему воспоминания своего детства. Он слушал с большим вниманием, а потом сказал мне: стоит ли прерывать повествование отступлениями, заглядывающими вперед? Я отвечал, что этим, кажется мне, я достигаю целостности пересказа каждой отдельной темы. Ив. Мих. ответил, что, возможно, я и прав. Он тогда же попросил разрешения в своем докладе по градоведению сослаться на мои труды. Эта деликатность так была характерна для padre, а эта ... (далее слово неразборчиво) так лестна для меня. В тот вечер с нами была Татьяна Борисовна. Мы покинули этот дом, и у меня не было ни малейшего пред-

* Т. Б. Лозинская — друг Н. П. Анциферова, историк, участница «семинариев» И. М. Гревса, жена М. Л. Лозинского.

** 21 линия, 16, кв. 58. Дом не сохранился.

*** 9 линия, 48, к. 15. Здесь Гревсы жили с 1924 г., переехав в сентябре 1940 г. на 21 линию.

чувствия, что я покинул этот отчий дом навсегда. Через неделю я получил телеграмму от Татьяны Борисовны.

Наш padre умер.

У меня сделался сердечный припадок, и я не смог выехать на его похороны. Из писем Татьяны Борисовны я узнал, что незадолго до кончины слушатели Ив. Мих. поднесли ему цветы и провожали домой. Так заканчивался путь профессора Гревса. В день смерти он долго работал. В 10 часов встал, отошел от письменного стола и сел в кресло. «Я устал», — сказал он своей дочери. Ночью, около 4–5 часов, ему стало плохо. Он разбудил родных, просил дать лекарства, но запрещал беспокоить врача. Однако родные послали за доктором, который всегда лечил Ив. Мих. Ему сделали какое-то впрыскивание. Он извинился за беспокойство, повернулся и сказал: «Ну вот, теперь мне хорошо».

Умер padre тихо, как праведник. Христианской кончиной — безболезненно, непостыдно, мирно и безгрешно.

Мой сын, крестник Марии Сергеевны, мне писал: «Гражданская панихида в университете. Приехал в университет и нашел зал исторического факультета. Еще на улице стояло много народа. А в самом зале трудно было подойти к гробу. С ним (Ив. Мих.) пришли попрощаться от товарищей по факультету до последних его учеников-аспирантов. Это была очень странная толпа. Таких стариков я редко встречал. Это были люди старого поколения, умирающего. Их я мало знал. Но всегда уважал и хотел бы сделать для них что-нибудь хорошее. Выступал академик Тарле, и когда он говорил о профессоре Гревсе, как о таком профессоре, который умел на вступительной лекции перед началом курса так говорить, что на всю жизнь вдохновлял учеников изучать историю, и что таких профессоров сейчас нет, его (Ив. Мих.) ученик, уже пожилой человек, все время повторял: да, да, это правда. Больше всего на меня подействовало выступление друга Гревса Трофимова. Декан исторического факультета... как-то весьма церемонно объявлял: от Бестужевских курсов и т. д., — и вдруг сказал: «Слово имеет Трофимов». И из толпы вышел невысокого роста человек с бородой, сидящими волосами; очень просто, близко подойдя к гробу, прочел прощальное слово. Затем заиграла музыка. А ко мне подошла Ала и сказала, что Крека спрашивала, не пришел ли я. Мне трудно было подойти. Крека сидела рядом с гробом на кресле, я раньше не видел ее. Она не плакала. Увидев меня, взяла за руку, сказала: «Вот посмотри, как верно, как хорошо сказал... (я не запомнил фамилию), что он был не старик, а старец. В нем, посмотри, не было ничего стариковского...» Потом она сказала, что очень рада, что здесь Ала и я».

Эту кончину, столь потрясшую меня, я вскоре благословил. Она спасла нашего padre от страшных дней войны и блокады. От тех нравственных и физических страданий, которые омрачали бы ясный закат Ивана Михайловича Гревса. В непроницаемом мраке вскоре угасла жизнь Марии Сергеевны, а за ней и Екатерины Ивановны. Смерть унесла их в один год.

После войны, весной 1946 года, я был опять в Ленинграде. Меня пригласили на торжественное заседание Ист. фак., посвященное памяти Ив. Мих.

Как все было бледно, серо! Лишь декан Вайнштейн хорошо сказал: «Жизнь Ивана Михайловича была прямой, как стрела».

Это поняли и сумели оценить. Ну и на том спасибо.

1937 год был годом памяти моего отца: он умер в 1897 году. Образ его — светлый и одухотворенный — навсегда остался в моей душе. Мы посетили вдвоем эту могилу в Софиевке. Ее удалось, несмотря на столь долгие годы, найти. Цоколь черный с синими огоньками (лабрадор) был цел с надписью могильной. Рядом в густой траве лежал упавший обелиск. Посетил я тогда и дом детства, — где родился, а в Крыму в Никит-

ском саду — все места, связанные с отцом. Все это время я думал о том, что судьба послала мне другого отца — в лице моего учителя.

Помню поздний июньский вечер в 1912 г. в Равенне. В этот день утром мы осматривали Мавзолей Галлы Плакиды. Изумительные мозаики в полумраке казались созданными из драгоценных камней. Но ведь это искусство было рассчитано на освещение огоньками восковых свечей. И я предложил договориться с кустодом*, чтобы он нас впустил в поздний час. Лиры сделали свое дело, и мы вошли в Мавзолей с беленькими легкими черини (свечками) в руках. Темно-синий купол со звездами, похожими на кристаллы снежинок, казался глубже и выше. Выступило много нежных оттенков красок, которые мы днем не видали. Я помню горящие свечи на саркофагах. Когда мы вышли под открытое небо — так ли в ту ночь усеянное звездами — наш профессор подошел ко мне, положил руку на плечо. «Хорошо?» — спросил он меня.

Я помню эту руку, положенную мне на плечо. Это было первое дружеское прикосновение, разрушившее расстояние между профессором и студентом. С этого часа я стал ощущать в нем отца — тогда это чувство было только в зародыше. Оно развивалось с тех пор с каждым годом на протяжении четверти века. Когда я после долгого отсутствия, после тягчайших страданий вернулся 12 июля 1933 г. в родной Ленинград, я приехал с сыном на могилу жены. А оттуда направился с мешком на плечах прямо к своему названному отцу. Как я живо помню это чувство! Вот тогда образ картины Рембрандта «Блудный сын» и встал передо мною. Мне вот так-то хотелось войти в отчий дом, накрытому пылью, и так же склониться перед отцом и почувствовать свою голову прижатой к его груди, а его склоненного над собою и положившего руки на оба плеча. Это чувство родного крова, ласки и защиты. Как и теперь, я ясно вижу его перед собой в его коричневом халате, с его ясной улыбкой, и слышу все еще молодой голос. И сотни дорогих воспоминаний встают передо мною и поддерживают меня в сознании, что уже одна встреча с этим человеком сделала мою жизнь значительной.

* Кустод — устар. «сторож» (от лат. *custōs* (*custōdis*)).